

Мочёная рябина

— Ты куда сейчас?

— К себе, на Волкова.

Двери автобуса закрылись, и за стёклами в чёрной рамке резины осталась табличка «ул. Волкова». Юна из автобуса глянула на неё и опустила глаза, почувствовав, что совершила предательство.

В динамике звенел женский голос:

— Чего вздыхаешь?

Юна потянула шарф влево, вправо, повела вниз воротник, а плечи потянула назад — пальто не растягивалось, не ослабляло сжатия.

— Ничего, мам. Не знаю.

«Не по себе, — сказала мысленно, — хреново как-то».

Где-то в затылке стучала тупая боль не боль — тревога. Причин для беспокойства не было, а беспокойство было.

— Я беспокоюсь за тебя.

— Я тоже.

Справа, прямо под поручнем, сидела женщина. Эта женщина в бесформенном, объёмном, синем сильно и прямо кашляла, овалом раскрывая рот. Рука её подлетала, но не поднималась до рта.

— Я вечером зайду, не теряй пока, — Юна сбросила вызов.

Она долго смотрела на женщину в синем, на её сухие губы, на два крупных зуба под верхней, потом плавно повернула ровное, никакое лицо к стеклу окна, прерывисто вздохнула.

Многоэтажки сменились за окном графикой частного сектора, затем — струнами юных берёз. — Мне платят триста за выход и два процента от выручки — куда мне дома сидеть? — слышалось позади и справа. — Не будет у нас выходных — на что я жить буду?..

Стук-стук — ёкнула боль в затылке. Юна «отключилась» от правого уха, сконцентрировалась на левом.

— Я только-только устроилась в этот салон, клиентов нарабатала, а мне за квартиру платить!

Юна отключила слух вовсе. Берёзы замельтешили в окне вперемешку с елями.

На «Линиях» зашли двое в одноразовых голубых масках (Юна видела, как они подошли к автобусу), проехали две остановки без голосов, без характеров, с одними только глазами за белой

простроченной тканевой линией. Кроссовки, джинсы по щиколотку, рост за метр семьдесят у кого-то и длинные русые выпрямленные волосы из-под кепки, пальто-мешок у кого-то второго. Левая рука первого держала правую руку второго.

А рука Юны крепко держала автобусный поручень, ползала по нему вверх-обратно, оставляла влажные пятна.

Тук-тук — попросилась боль в виски и без разрешения вошла.

До загородной остановки «Карьер» из пассажиров доехала только Юна, вышла. За остановкой подняла капюшон и поплыла во всех смыслах: март всюду налил, но за собой не вытер, по-ребячьи смешал с водой песок, глину, землю, травку-муравку и чёрт знает что ещё.

Поле вызревшей и отсыревшей полыни, за ним — ж/д пути. Юна, глядя на короба товарных ржавых вагонов, вытерла мокрые ладони о пальто, подумала о пальто — его цвете, цене, новизне — и шагнула на щебень. Под вагоном пахло углём — кисло-горько, а сразу за вагоном — свободой.

Ветряная волна ходила по жухлой траве кругами, лужи рябили. Юна достала телефон, смахнула с экрана последние новости («Вирус выявлен у солиста Ram...»), «Новые случаи вируса выявили в 16 ре...») и сделала фото. Если у нас есть время и силы на фото, у нас всё хорошо.

Облепиха и лох наполнили чашу озера вместо воды. Часть поля пропала под новыми коттеджами справа. А в остальном всё было как в детстве, так же.

Из-за спины, скорее, из-за затылка, вырвалась стая стрижей, устремилась влево, подальше от новых чужих домов.

Из облепихи выбежала серая, как талый снег, кошка и бросилась к домам. Это снег побежал — показалось сначала. Снег и бежал — вниз по дороге, к первым на обрыве избушкам.

Юна нашла рядом с одной опознавательный куст сирени. Сирень стала больше, дом ниже, Юна бледнее и тоще, всё это случилось лет за десять. Юна толкнула забор двумя руками. Забор сходил туда-сюда, вернулся в исходное положение синхронно со стрижами, ушедшими куда-то за спину.

Найти задвижку где-то там, на ощупь, не удавалось. Удалось перелезть поперх. Прыг. Тук-тук. Кап.

Сначала всё увиделось единым: ржавый замок в петле, выгоревшие мышино-серые доски сарая и дома. Всё на земле тянулось единым полотном: всё было вязаным, стёганым, смешанным. Стебли переходили в прутья, прутья — в палки, стволы, верёвки, травинки, остатки. Всё коричневое, рыжее, жёлтое, серое, зеленоватое-серое подползало к выгоревшим доскам, голым стволам, скамейкам и переходило в них. А до неба не доставало.

Рыхлый талый снег отошальными псами лежал под лавкой, под яблоней, за крышкой погреба, у двери. В овальной ванне под рябиной серая снеговая собака купалась — вытянутый ноздреватый ком плавал в прозрачной воде ни туда, ни сюда — на месте. Под сугробом, на дне, лежали коричневые гнилые ягоды.

Где-то завывало и дуло, но где-то за второй каменной стеной, в огороде. А где-то здесь стучало. Юна обошла дом и побрела на стук, под паутину кленовых пальцев. И нашла.

Под клёном по старой раковине стучали капли — скромно и тонко. Они тянулись из-под клапана алюминиевого рукоячника по тонкой металлической ножке и падали в ржавую проталину на белой эмали. В рукоячнике плавал кленовый коричневый лист. Клапан держал открытым шарик рябины.

Юна улыбнулась. Вот же оно как! Она потянулась рукой вверх, потом вниз, вниз, опустила её в ледяную настойку на листе и рябине, намочила пальто, намочила рукав рубашки. Рука шла вниз, а влага шла выше, выше по ткани, и где-то между оставался только коричневый лист, прижимавшийся к алюминиевому стакану, к стенке. Когда рука потянулась обратно, лист снова лёг на воду.

Ягода осталась у Юны в пальцах. Но рукоячник продолжил сочиться, тоньше и робче, ножка клапана всё так же поблёскивала и выдавала провал.

Юна оглянулась на дом. Из сарая шевелил усами диван. Усы были соломенные, они неряшливо торчали по всему его лицу, старому, порванному, клетчатому. Юна вспомнила, как боялась прижиматься к нему холодными дачными ночами — диван шуршал, пах сыростью и был не из тех, к кому хочется прижиматься.

Мокрая солома внутри была тяжёлой, вытаскивали диван в сарай из дальней комнаты в четыре руки, хотели сжечь, но дали слабину.

Юна долго не решалась зайти, смотрела изда-лека. Тук-кап.

Чердачное окно сарая свистело целлофаном. Когда-то на чердаке пахло луком и помидорами — теперь явно не пахнет.

Юна зашла через сарай в дом (обошла диван, коснувшись его подлокотника бедром). Боясь найти личные вещи умершего деда, она нашла алюминиевую круглую крышку. Круглая ручка из твёрдой пластмассы на ней вертелась в пальцах.

Юна подняла клапан. Выпустила воду. Опустила крышку на рукоячник. Клён скинул поверх тонкий сухой палец.

И стук стих. И стало спокойнее.

Теперь никакого желе из ягод ирги в формочках. Никакой картошки с тушёной в кастрюле на печке из десяти кирпичей. Никакого сладкого молодого горошка, малины с клопами, стола, в который упираются коленки, соснового запаха чердачной лестницы, старых газет и сквозняка в уличном туалете за помидорами, панамки и старых кроссовок-водолазов...

«И ни вод, ни воздуха, не укрыться...»

Юна перелезла через забор, подхватила у кадыка сухими ладонями воротник пальто.

А мочёная рябина оказалась на вкус как ничто.

Тёплое мыло

Зачем вы пересаживаетесь за руль собственного автомобиля? О, я понимаю, вы больше не выдерживаете этой переполненности людьми, образами, явлениями природы. Это как купить собственную квартиру, сбежав из общежития.

Короб трамвая — комната общежития. Салон троллейбуса — другая комната, этажом выше, возле кухни (оттого вечный гул: это холодильник гудит за стеной). Автобус — странная комната, где вместо двери жёлтая штора, а за нею — зелёные тени и голоса.

Транспорт — замкнутое пространство. Ровно до тех пор, пока не раскроются, не разъедутся двери и не случится диффузия двух пространств. Вещество троллейбуса проливается на заледенелый асфальт, вещество города заползает в автобус и едет, едет...

Трамваи перевозят снег. Он заскакивает, как опоздавший пассажир, в свободную щель, пролезает под квадратную железную дверь, падает на нижнюю ступень и выдыхает. Успел!

В автобусы заходят самодостаточные разнопородные псы, едут несколько остановок на сиденье и выходят в неизвестном направлении по только им одним слышимому сигналу.

На стёклах омских троллейбусов путешествуют рассказы и поэтические строчки: работы участников конкурса, посвящённого некой дате электро транспорта в городе. (Белые листы А4, кегль 14-й, к концу лета все выцвели.)

Жильцы в этих коробах-комнатах сменяются очень быстро, выцвести не успевают.

— Какой номер?

— Девятый!

— Так это моя!

— Передаём за проезд!

— Оплачиваем за ремонт!

Однажды еду, слышится крик: женщина с остановки просит водителя подождать. Под окном слева от меня, мимо пыльного бока автобуса, пробегает

девочка лет пяти. Она останавливается перед автобусной дверью, схватив одну из створок рукой.

Следом за ней спешит женщина с мальчиком за руку, ему не больше трёх лет. Не успевая перебирать короткими ножками, мальчик падает на спину, женщина протаскивает его до двери автобуса, держа за капюшон.

В салон они восходят как на сцену.

Дети бросаются в разные стороны. Привлечённые шумом и окриками, пассажиры наблюдают за троицей.

— Уля, несносная девчонка! Максим! Ну-ка сюда!

Женщина на пике эмоций, разве что пар из ушей не идёт. Лицо у неё в морщинах, усталое, серое.

Им уступают два кресла прямо напротив меня. (И так я оказываюсь на спектакле в первом ряду.)

— Ёшкин дом! — ругается женщина, усаживая детей.

Дети — две молодые картофелины только что из земли: девочка запачкалась о бок автобуса, мальчик проехался по асфальту спиной, носы у обоих охристо-умбровые, глазки дикие.

На нового подозрительного соседа всегда смотришь сначала только одним глазом, опасливо: кто он, что он, не придётся ли просить коменданта о смене соседа? И чего это он такой нечистый, не поселит ли он вместе с собой неряшливость в комнате? Всматриваешься, подключаешь второй глаз.

Уселись: девочка и мальчик на одном кресле слева, женщина справа. Дети вошкаются, ёрзают, колупают друг друга. Максим пытается укунить за нос Улю, ему удаётся. Ничего не замечая, женщина с серым лицом достаёт из кармана плаща большую лупу на чёрной ножке и с её помощью разглядывает экран старенького телефона-кирпичика.

Дети ноют: домой хотим! Но женщина на них только цыкает.

Мальчик бросается на женщину и пытается укунить, но она меняет его траекторию — он хватает в рот колпачок завязки её плаща, откидывает голову назад, тянет шнурок.

— Домой хотим! — объясняет поведение мальчика Уля.

— Не поедem домой! — огрызается женщина.

И все затихают.

А иногда повезёт: заселишься в салон трамвая в жуткий мороз сине-чёрным вечером, сядешь по левому боку на непарное кресло, скукожишься от холода, озноба, приготовишься всё это терпеть до самого дома, но придёт сосед и спасёт тебя.

— Пересядь на правую сторону, дочка. Там печка работает, — подскажет кондуктор.

Я тогда поверила, перебросила тело на новое место. Сиденье оказалось горячим, а воздух тёплым.

Такими праздничными вдруг показались мне городские огни в окне, такая согревающая доброта наполнила моё сердце, что я заулыбалась. Такое

тёплое чувство появилось у меня при взгляде на задремавшую в своём кресле женщину-кондуктора, тёплое и большое, что мне непременно захотелось им поделиться.

Я раскрыла сумку и осмотрела подарки, полученные на утреннике от детей. Сумку наполняли разнокалиберные шоколадки, самодельные открытки и поделки — всё, что принято у нас дарить учителям, а под ними, в золотистой подарочной упаковке, нашлось маленькое твёрдое парфюмированное мыло. Я тогда достала коробочку с мылом, сжала в руке и вдруг поняла, что... благодарить страшно, ужасно волнительно, стыдно.

Стеснение продержало меня на сиденье до самой моей остановки. Когда я поднялась, мыло в моих руках было уже ощутимо тёплым и, нагревшись, стало нежно отдавать своим аромат.

— Спасибо вам. С наступающим! — вложила я в руки кондуктора тёплое мыло.

Прощай, снег. Прощайте, самодостаточные большие псы. Берегите себя, хрупкие листы со стихами на стёклах. Женщина, отвезите скорее Максима и Улю домой.

Сойдя со ступенек, обернулась тогда: женщина в кондукторском кресле сидела расслабившись, словно согревшись.

Я запрыгивала в эти маршрутные комнаты с горячим беляшом в руке, спала вечерами на сиденье, раскрыв рот (очень уставала после учёбы), писала тексты, смотрела в окно.

Я больше здесь не живу, но мои руки ещё пахнут мыльной отдушкой и почему-то совсем не мёрзнут без рукавиц.

Не ешь меня

Грустно тебе? А хочешь, кое-что расскажу?

Мой знакомый однажды начал интересный флешмоб: каждый день следовало под хештегом рассказывать, что у тебя произошло хорошего. Я поёрничала, спросила: что же мне делать, если у меня все дни целиком отличные, трансляции проводить?

Зря я так, конечно.

Через день после того разговора мне директор на работе предложение сделал. Предложил уволиться «по собственному». Я сразу написала тому знакомому, со флешмобом: «Зацени приколы: только я тебе похвасталась счастьем, меня увольняют». А он мне в ответ: «Зацени приколы: я сделал себе амулет, который делает явным то, что от меня скрыто, так узнал, что у меня простатит».

Посмеялись с ним тогда, повздыхали, да делать нечего.

Чтобы уйти от уныния, я пробую обесценить свои мелкие беды, вспоминаю что-то более крупное, больнее, острее, хуже. Чтобы кошки на душе улеглись, думаю о чём-то глобальном — например, о стихиях.

Молодость моего папы прошла в городке Южно-Сахалинске, на самом крупном острове России. У него сохранилось множество воспоминаний, связанных с Сахалином, и самые яркие из них (мокрые, влажные)—о воде.

Через остров переглядывались два крупных моря—Охотское и Японское, они тянулись друг к другу через горы многочисленными реками, перебрызгивались источниками.

Весь отдых проходил у воды: в любое время года удили гольца, мальму, кумжу, летом наблюдали, как оживают реки, наполненные блестящими рыбинами, которые шли на нерест.

В моём детстве папины рассказы о Сахалине звучали сказкой: «Все водные источники для нас будто сливались в один одушевлённый образ, некую героиню, со своим характером, желаниями, настроением. Для каждого она выглядела особенно: для тех, кто ходил далеко в море,—старухой, седой, мудрой, спокойной, волны представлялись морщинами, а туман над ними—белой поволокой старческой слепоты; для огородников вода была спорой помощницей, терпеливой, работающей, полной сил женщиной; а для меня—всегда девчонкой, звонко поющей по округе».

Я отчётливо представляла тогда далёкую чужую весну, время, когда на Сахалине разливались реки и вода-озорница быстро бежала по улицам, играла с мальчишескими корабликами, бумагой и палками. Любопытная, она заползала в подъезды и будто слушала, чем живут люди в городе.

В один год, рассказывал отец, серо-зелёная речная вода поднялась аж до последней ступеньки подъездной лестницы, до самой площадки первого этажа его дома и стояла так целую неделю, не решаясь ни зайти в гости, ни уйти восвояси.

По улице тогда люди плавали в лодках: за хлебом ли, к родным, на работу. Благо лодки имели почти все—наводнение редкостью не было. Жизнь не останавливалась, но все ругали беспечную непослушную воду, как провинившегося ребёнка.

Когда река той весной вернулась в берега, все принялись «убирать за ребёнком игрушки»: чистили сизый ил, собирали разбросанные пожитки.

Студентов отцовского колледжа направили разбирать продуктовые склады. Там, в огромных бетонных комнатах, вода особенно порезвилась: на полах толстым слоем лежал мягкий речной ил, консервы были раскатаны по углам, этикетки с них сняты. Коробки с макаронными изделиями имели ужасный вид: казалось, что они побывали в огромной влажной вате, перетёршей картон до состояния тряпки. Все ящики, упаковки— всё было сырым и мокрым.

Сахарные мешки по-прежнему лежали на бетонных ровными стопками. Только сахара в них уже не было, они стали плоскими и тонкими как блины.

Всё растворила вода-сладкоежка, всё с собой забрала, лакомка.

Думая о том, насколько сладкая вода вернулась в реку, я понимала, почему отец называл воду девчонкой.

Но не понимала тогда, что сказка страшная.

«В первые годы, когда начала предсказывать, передо мной зажигали свечу. Но так как я слепая и не вижу, то могло случиться какое-то несчастье, голос мне велел заменить свечу кусочком сахара, потому что он чистый»,—сказала болгарская ясновидящая.

Ванга заменила свечу на кусочек сахара, но несчастья всё же случаются.

Тридцать первого декабря 2010 года, за несколько часов до праздничной полуночи, мне позвонила Олеся. Я услышала её в трубке и сначала подумала, что она смеётся, ведь смех и плач одинаково вышлют голос.

Первые фразы пропали из памяти, а вот это запомнилось:

— Оленька, милая, всё сторгит!—назвала она меня так, как никогда не звала.

С мобильного телефона её семья не могла вызвать пожарных, и мне поручили набрать с домашнего аппарата две цифры.

Всего две, но я никак не могла попасть по телефонным кнопкам, а прежде—не могла вспомнить нужную комбинацию, пару для нуля.

(Сейчас решила себя проверить, набрала 04 в поисковике, но запрос ничего не выдал. Оказывается, позвонить на двузначные номера 01, 02, 03, 04, сейчас не получится не только с мобильного, но и с обычного городского номера. После ввода новой системы набора коротких номеров экстренные службы были переведены на единые трёхзначные номера. Откуда бы нам это знать?)

И пока я медлила, стихия из две тысячи десятого доедала свой праздничный ужин.

Двухэтажный дом, словно двухкоржевый торт, спёкся, вспенился и пошёл белым паром в небо. Я всё это видела, и это не было похоже на сказку.

Я забрала в свою квартиру Олесю, её племянницу и жену её брата.

Приехали, переоделись, загрузили в стиральную машину вещи. Сели за стол.

Двенадцать ударов Нового года прозвучали в полной тишине.

Ночь прошла в полной бодрости.

— Там в комнате, на столе, лежали наши курсовые по полеводству...

— Столько салатов нетронутых рассыпали и залили...

— Где-то в доме был Кейс—выскочил ли?

Вот бы в дом тогда заползла вода, зелёно-серая, из сахалинской Сусуи, поднялась на порог, облила зебру, покочала на волнах разодетую шармами ёлку, пришла бы на ужин и всех спасла. Мы бы дали ей сахар, не жалко.

Жаль было того, что отдали.

Утром первого января мы вернулись к сгоревшему дому на такси, по повышенному праздничному тарифу, в пахнувшей кислой гарью тишине. Таксист вышел открыть нам багажник, но раскрыл глаза:

— Это... ваш?

Ужин стихии удался: она похрустела кафелем в кухне, погрызла деревянные балки, раскрошила стёкла, разорвала в клочья обои, подтопила, словно огромную плитку шоколада, одёжный шкаф. Тёртая свёкла приправилась снегом, пеплом и штукатуркой. Лампочки закоптились. На гору чёрных безымянных обломков водрузилась большая матово блестящая тёрка. И поверх всего narосли мелкие мутные сосульки, словно накануне всё вокруг было забрызгано слюной, а, стекая, брызги схватились.

По утоптанному снегу вокруг дома ещё долго катались оранжевые мёрзлые шарики — начинённые салатом апельсины, на их боках виднелись надкусы и проколы зубов — по ночам их в пастях из дома выносили уличные собаки и кошки.

«Зацени прикол: я сделал себе амулет, который делает явным то, что от меня скрыто», — написал мне знакомый. Но у Олеси такого амулета не было. Она долго не знала, что Кейса, её сиамского ласкового кота, стихия поймала за креслом, но ест не стала.

Жил-был кот, да убежал в снега.

Тише, это будет наш с тобою секрет.

Убери свечу.

На, держи сахарок.

А что ещё тебе рассказать, что положить на чашу весов, противоположную той, на которой виснут наши нынешние худые проблемы? Вот и взлетело весовое плечо горизонтального рычага с ними на всю возможную высоту.

Соберись же.

Дом, которого нет

Пространство вытягивает нас из нор. Чем дальше не выходишь из дома, тем сильнее будет его рывок: за шкуру тебя — и наружу.

Две отчаянные девушки, мои приятельницы, махнули из Москвы ко мне в Омск автостопом. Несколько бессонных ночей, подаренная дальнбойщику за помощь бутылка водки, звонки с чужих телефонов — этот путь Наташи и Лизы завершился поздним осенним вечером, я встретила их на своей остановке и накормила горячим ужином.

После ужина Лиза включила, наконец, телефон. Аппарат высветил кучу пропущенных, а затем сразу же зазвонил. Оказалось, что Лизу, несовершеннолетнюю эту Лизу, домашние объявили в розыск. Милиция обещала приехать и засвидетельствовать, что её не удерживают в моей квартире силой.

Пространство уже потянулось ко мне тогда через телефонный динамик.

Приехала милиция. Пространство задышало в домофон, пригласило, попросило вниз. Лиза спустилась к подъезду, в сентябрьскую вечернюю морось. Она набросила мою куртку и схватила мои ключи (чтобы вернуться тихо-тихо). А потом пропала. Вместе с ключами и курткой.

И до утра мы с Наташей размышляли, почему вечер и морось не вернули нам Лизу. А утром отправились на поиски.

Здравствуйте! Какой у вас участок, куда приехать?

Здравствуйте! У вас тут девушка такая маленькая, где?

Здравствуйте! Как это, не у вас уже? А где искать?

Мы планировали с Наташей и Лизой гулять по городу. А вышли вот такие скитания, тревожные перебежки, переезды, переживания дождя под крышами — сначала седьмого милицейского участка на улице Северной, затем Центра временной изоляции несовершеннолетних (Лизы не было и там), а потом...

Пространство засмеялось и потащило дальше, потянуло и пешком, и проездом на самый край города. Нам с Наташей было страшно, но мы знали: Лизе, где-то там, страшнее.

В вашем городе есть дома, в которых вы никогда не были. Там ни кафе, ни больниц, ни банков, разумеется, там не живут ваши знакомые, и, конечно же, в них не живёте вы. Вы всегда проходите мимо таких домов. Сотни раз проходите мимо этих домов. И таких домов для вас словно нет. Вспомните, к примеру: сколько зданий стоит справа от вашего любимого театра? Какого они цвета? А, вы и в театр не ходите?..

Сколько тогда этажей в домах между остановками «ТЦ „Омский“» и «Госпиталь»? То-то.

Если они не нужны, то их нет.

Пока мы не нужны, нас нет.

Мы ехали с Наташей по полупустому городу на такси, и я иногда выхватывала из пространства что-то знакомое: «Смотри, тут я работала, на шестом этаже», «Вот моя школа». А между всем этим висела несчитанная бесцветная пустота.

Для меня прежде не существовало района города под именем «Старый Кировск», для меня не было никакой девятой больницы. А потом туда поместили Лизу (из-за того, что в Центре несовершеннолетних не было для неё места), и вдруг возникли из ничего и район, и больница, и стационар-погреб.

Я никогда не была в них, но показалось — была.

Красный кирпич, четыре этажа, тёмные влажные коридоры, запах капустного супа... Откуда в этом что-то знакомое для всех нас?

Подобную шутку сыграли со мной многочисленные путешествия.

Образы людей и мест разных городов накопились в голове и начали причудливо смешиваться, ставя меня в странное положение.

Иногда иду по улице и думаю: мне она кажется знакомой потому, что я тут была, или потому, что видела такую же улицу в другом городе? Иногда я поддаюсь обману и сворачиваю за угол, убеждая себя, что знаю нужную дорогу, но оказывается, что дом, за который я завернула, всего лишь похож на дом в подобном же русском городе и дорожка ведёт в какие-то тартарары.

Иногда я пытаюсь вспомнить, где находятся магазины и банкоматы, станции метро, музеи и храмы, но снова путаю улицы.

Иркутск похож на Омск, Таганрог на Ярославль, Москва маскируется левым боком под Ленинск-Кузнецкий, а сам он — в свете растущей луны — точь-в-точь Уфа.

С людьми ещё интереснее: мне начало казаться, что почти каждого я где-то видела. Все лица кажутся мне знакомыми, в прохожих мне мерещатся разные люди, находящиеся в данный момент очень далеко от меня.

Несла однажды в поезде кружку с кипятком — от самовара до места 37 — увидела мелкую девочку на боковом сиденье, в наушниках, подумала: это же моя соседка с Красногорска, кажется, Настя. А потом поняла, что Насте той сейчас примерно за тридцать...

Вот и возникли из пустоты красный кирпич и девятый номер.

Лизу на больничной кровати мы признали тогда с трудом. На большом сетчатом полотне, в гнезде из серо-жёлтых одеял, лежало хрупким яйцом белое тельце. Пробуждение её — после ночных мытарств по участку, Центру и больничной палате — было похоже на трудное появление из скорлупы.

Лиза, Наташа, я — мы заняли три железных кресла в коридоре.

Мимо нас в столовую проплывали старики и старушки (из тумана палаты в серость большого холла), «шарк-шарк» наполняло наше тяжёлое молчание. Что теперь делать? Забрать Лизу из больницы имели право только родители. Мы забрали только мои ключи и куртку.

Странно это — преодолеть такой трудный путь до Омска и не увидеть город. Трудно это — потратить на несколько суток из виду дочь, а затем собирать деньги на самолёт до Омска, искать Старый Кировск, искать больницу, искать слова.

Пространство коварно, но лишь от скуки.

У одного омского актёра, Александра Гончарука, несколько лет в статусе соцсети висела фраза: «Вам меня не надо, а я есть!» Примерно с такими словами из городской пустоты иногда делают шаг дома, которые ты предпочёл бы не видеть.

СенЮич

Побывать на тарусской даче Паустовского для меня — почти как увидеть Париж и умереть. (По Эренбургу, от счастья.)

Я подлетела к калитке цвета прошлогодней листвы быстрее всех, прочитала вывеску. Тырк — закрыто. У дома — оранжевый лилейник и черёмуха, за ними, в белой оконной раме, — красная и розовая герань, а дальше — молчаливая пелена тюля.

На стук никто не откликнулся, и мы, так долго стремящиеся сюда, постарались насытиться меньшим: подпрыгивали, фотографировали, глазели в щели.

Увидев тропинку, уходящую за дом, обошли по ней сад вдоль забора. В низине текла Таруса, совсем мелкая, каменистая, а над ней, как было обещано в сказке, виднелась зелёная беседка — тот самый скворечник, в котором работал Паустовский.

Вдруг: между сетчатым забором и землёй — щель. Я поднялась по склону и пролезла в сад. Ребята последовали за мной.

Заглянула в беседку-скворечник: плетёные диванчики, окно смотрит в сторону реки, рядом стол. На столе лежит стопка книг (какие — не разглядела), стоит кувшинчик с полевыми цветами.

За беседкой цветочным калейдоскопом крутится сад.

Все ушли далеко. Только лёгкой пугающей тенью
Бродит кошка в саду, —

написал Паустовский в стихотворении 1915 года, за сорок лет до покупки крошечного тарусского дома. (Вы знали, что он писал и стихи?) Теперь этот дом растёт синей незабудкой посреди сада, его сразу и не заметишь.

Но я заметила: я знала, где искать. Подбежала, прижалась лбом к центральной стеклянной двери и увидела две фигуры, они сидели в дальней комнате за столом.

Эмоции были невероятные: и холодящее ощущение опасности — всё-таки мы пробрались на частную территорию музейного центра и чужого жилья, и обжигающая радость — ведь теперь было кому запустить нас внутрь.

Сегодня! Сейчас! Никогда прежде! Никогда больше!

Мы решили попасть в этот дом, чего бы нам это ни стоило. Постучали. Ещё и ещё.

К нам вышла худая женщина примерно за тридцать семь, спросила, чего хотим (ни как мы попали в сад, ни кто мы, нет). Пускать нас она отказалась, но отказала мягко, шепнула, что хозяйка (падчерица Паустовского, Галина Алексеевна Арбузова) приболела, предложила нам осмотреть сад.

И гаснут восторги, и в сердце таится печаль,
Как зимняя тяжесть, как слёз затаённое бремя.

Да, Константин Георгиевич, всё так и было.

Мы разошлись по саду. На считанные минуты смирились: ну, болеет, закрыто, на свете бывает всё... А потом волна нетерпения снова подкатила к нашему берегу.

Постучим? Постучим!

Что самое страшное может произойти? Нам всего лишь ещё раз откажут.

Или мы в полицейском тарусском участке будем рассуждать о тяге к литературе.

Я—юный внук, овеянный печалью
моей мечты. В огнистых городах
сжигаю дни усталые над далью,
хочу забыть мой тихий вечный страх,—

и это Паустовский словно бы про нас.

Вернувшись в наши огнистые города, мы не простили бы себе трусости. Обошли Дом-музей Паустовских и постучали во входную дверь у ворот.

Вышедшая вновь женщина была удивлена, она повторила нам причину отказа, но мы были безжалостны.

Не умирать же нам, не увидев Париж? Не умирать же вам, не впустив нас?

И нас впустили «на две минуточки», «одним глазком».

Когда мы вошли, Галина Алексеевна сидела за кухонным столом и ела черешню. Увидев, что нас всего четверо и то, как у нас горят глаза, она сменила гнев на милость, тяжело поднялась и сама провела нас по комнатам.

Никогда и нигде прежде я не была так восторженно внимательна и сосредоточенна, как в стенах этого дома. Это не просто советская дача—это удивительный, гармонично устроенный мир, в котором стены ярких цветов (в комнате Паустовского—жёлтые, в детской—голубые...), а ламповые абажуры сделаны самой Татьяной Паустовской.

Мне хотелось касаться всего, запомнить всё—расположение вещей, запахи. Уловила, что на веранде пахнет свечным воском, а в кабинете Константина Георгиевича—словно пирогом с капустой.

Пока никто не видел, я дотрагивалась до ручек шкафов, поручней кроватей, корешков книг.

На стенах дома—много не засвеченных в Интернете фотографий, какие-то старые смешные стенгазеты «от друзей», с вырезанными из фото лицами Паустовского.

А ещё—Чехов.

«В каждой комнате этого дома свой»,—сказала Галина Алексеевна, и всюду, правда, нашлось какое-то изображение Антона Павловича, фотографическое ли, нарисованное.

В рабочем писательском кабинете на стене висело большое графическое изображение Чехова. А кабинет был в контраст—разноцветный, дачный, радующий. Мы задержались в нём особенно долго.

Смотрели фото Константина Георгиевича (узнали, что на известном снимке, где Паустовский подпирает голову рукой, два светлых тома за его спиной—это тома Пришвина).

На полках—издания хозяина дома в разном количестве томов и разных обложках. Рядом с полками—кресло, вельветовое, цвета выцветшей умбры. Стол деревянный, простенький, столешница накрыта листами голубой бумаги, закреплёнными кнопками (признаюсь, оторвала от бумаги крошку-кусочек, запрягала в карман джинсов, потом, правда, не смогла найти).

На столе кувшинчик, но не с цветами, а с шариковыми ручками, простыми, советскими.

Маленькая настольная лампа (я успела пару раз нажать кнопку на ней). Рядом в чемоданчике печатная машинка «Гермес Бэби».

Тут же рукопись. Почерк очень непонятный. Константин Георгиевич сам его не разбирал: если не успевал перепечатать написанное, позже не мог вспомнить, что написал.

У стола два плетёных стула, с одной и другой стороны, большое окно, выходящее в сад. На подоконнике горшки с цветами. На дальней стене, за столом, висят фото «любимых и уважаемых людей», среди них Бунин, Пастернак, Марлен Дитрих, другие.

Мы сидели на полу и слушали рассказ.

Я полюбил наркомы стран далёких,
глаза людей, познавших вечный рай...

Вот эти паустовские наркомы—вот что случилось с нами там.

Галина Алексеевна как-то смешно и неясно называла в рассказе Константина Георгиевича—«СенЮич». Я переспросила её, надеясь, что она произнесёт имя понятнее, но она лишь ответила:—Он близкий мой человек, и мне можно так его называть.

Вот и мне показалось, что я побывала в доме близкого человека. Умирать нам ещё пока рано, но в целом Таруса-Париж теперь отмечена отпечатками наших ног, умирать будет не так обидно.

После экскурсии попросились выйти через калитку, и вот тут-то возник вопрос, как же мы вошли. Я пошутила, что прилетели.

Когда вышли—обнимались. Шли в нирване, общались запойно.

А мы ведь действительно туда прилетели. Как ветер с реки, словно пчёлы в сад.